



В. А. ВИКТОРОВИЧ

Эффект «Пушкинской речи» в русской журналистике

<...> Мы констатируем дуализм восприятия «Пушкинской речи»: в момент ее произнесения свершился акт национального самосознания, но затем он был истолкован либеральной прессой как «фальшь русского самолюбия». Достоевский легко распознал здесь подлог: «Неужели восторг был оттого, что мы всех могущественнее и длинноголовее» [Д30; 26: 223]. Подлог, тем не менее, в определенных кругах обретал силу непререкаемо авторитетного суждения. Речь Достоевского обростала искажающей ее мифологией.

После публикации текста речи в «Московских ведомостях» (13 июня 1880 г.) недоумение достигает значительную часть читателей, что выразил, к примеру, один из них (А. А. Майков, славист, педагог, публицист, двоюродный брат поэта): «Речь Достоевского полумистическая и если она произвела, как говорят, потрясающее действие, то конечно не содержанием, но произношением»*. «Мистицизм» — ярлык, еще со времен «Бесов» навешенный на Достоевского. Как заклинание, повторяет его В. О. Михневич («Живописное обозрение», 21 июня 1880 г.), а также другие интерпретаторы. «Мистицизм», «фанатизм», «фантастичность» — после таких слов можно уже и не допытываться о смысле.

На периферии тезауруса появлялось и другое слово. Так, В. А. Гольцев отдавал должное «смело начертанным идеалам» в речи Достоевского, однако сразу же установил ограничение: «либеральные и гуманные идеи должны быть ясны и определены: они не должны расплываться в бесформенном мистицизме» («Русский курьер»,

* Письмо А. Н. Майкову без даты, после 13 июня 1880 г. (ИРЛИ. 16.989. Л. 1 об.).

18 июня 1880 г.). Сам Гольцев тут же и продемонстрировал эту «определенность»: «Русская интеллигенция прежде всего должна завоевать себе в государстве ту независимость и влияние, какими она пользуется на Западе». Речь Достоевского была, очевидно, не о том. <...> Натиск на «Пушкинскую речь» после ее публикации стремительно нарастал. Двойственную позицию занял Г. И. Успенский: явно увлеченный Речью, он в своем отчете объяснил эту увлеченность тем, что для внимавшей оратору прогрессивной молодежи (и для него самого) «могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека — жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях» [Успенский 1880а: 189], хотя в тексте Речи, уже напечатанной, публицист «Отечественных записок» нашел отклонения («заячьи прыжки») от этой дорогой ему самому мысли. Одни и те же слова и понятия меняли свое значение, переходя из одного контекста в другой. Успенский оценил у Достоевского «беспокойство о несчастьи ближнего», однако у оратора оно входило в состав «всецеловечности» на более широком, универсальном, т.е. христианском основании. Отвергнув последнее, Успенский и за ним другой публицист «Отечественных записок», Н. К. Михайловский, вволю потешились над финальным поступком Татьяны Лариной в интерпретации Достоевского, и сделанная перелицовка «другому отдана — век ему верна» на «нанялся — продался» [Успенский 1880а: 196] имела шумный успех. Достоевский и его оппоненты говорили на разных языках.

Особенно очевидно это стало после статьи А. Д. Градовского «Мечты и действительность» в газете «Голос» (25 июня 1880 г.). Уже само заглавие выдержано в назидательном тоне. Профессор-правовед Петербургского университета (выразитель именно профессорско-университетской оппозиции Достоевскому)* как бы прочитал лекцию, толково и терпеливо внушая нерадивому студенту правильный образ мыслей. По поводу слов Достоевского «не вне тебя правда, а в тебе самом» [МВед.] и т.д., ученый уверенно заметил, что в них «г. Достоевский выразил “святая святых” своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора “Братьев Карамазовых”». В этих словах заключен великий религиозный идеал, мощная проповедь *личной* нравственности, но нет и намек

* Сам по себе выразителен факт: после открытия памятника Пушкину основным официально-общественным событием считалось торжественное заседание в Московском университете, где главным героем после Пушкина стал И. С. Тургенев. Достоевский на это заседание не пошел, и о нем не было там сказано ни полслова. Да и впоследствии речь Достоевского не вызвала в университетских кругах большого энтузиазма.

на идеалы *общественные*» [Градовский]. В дифференцировании личных и общественных идеалов состоял главный пункт полемики профессора с писателем, вокруг этого вопроса выстраивались и все остальные. <...> Следует заметить, что Достоевский все же не оказался в одиночестве. Незадолго до августовского «Дневника писателя» 1880 года, состоящего из Речи с комментариями автора, вышел июльский номер журнала «Мысль» со статьей Л. Е. Оболенского «А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции». Оболенский, недавний ишутинец, начитавшийся Достоевского и запальчиво отвергнувший «народопрезирающий либерализм» (его самого относят к правому крылу либерального народничества), дал наконец адекватный ответ обвинениям «Пушкинской речи» в пресловутом «мессианизме»:

«Если вы поняли меня, а, если вы только русский, вы не можете не понять, то вы поймете и то, что каждая нация обязана иметь такой “огненный столб”, который вел в пустыне племя Израиля, без этого знамени оно заблудится в степи, оно не захочет идти дальше, томимое жаждой и палимое зноем. Идеал нации — великая сила, великий библейский огненный столб: пока он светит, люди идут, даже умирая, идут, потому что видят *его*, потому что *верят*, потому что он светит, значит он есть, значит — придем. Этот идеализм есть и величайший реализм, ибо что ж реальнее, что же проще даже с физиологической точки зрения того, что уверенный в своих силах сильнее того, который убежден, что он бессилён: прочтите любого реалистического психолога, как Карпентер, и он убедит вас в этом. Стало быть, идеал есть реальная, физическая сила, и эту-то силу Ф. М. Достоевский пробудил в русских сердцах, показал ее воочию, и его не забудут вовеки, как не забыт Моисей и его огненные столбы» [Оболенский].

<...> А. Н. Пыпин, в свою очередь, решительно переосмыслил заявленную Достоевским русскую «всечеловечность»: в отличие от таковой в Европе, утверждал ученый-критик, она обличает нацию, отставшую от ушедшего вперед культурного мира и вынужденную заимствовать чужие достижения. Равнять ее с западным вариантом «непозволительно», поскольку у нас «народ остается без школ, общество — без возможности самодеятельности, литература — без элементарных условий, которые бы дали ей право считаться истинным выражением своего общества и народа» [Пыпин]. Если верить Пыпину, русская литература на момент 1880 г. не получила еще такого права. Также утверждалось, не в первый и не в последний раз, что Достоевский выступил против общественного прогресса, в то время как автор «Пушкинской речи» предложил **иную формулу** его (христианскую). Школы для народа и самодеятельность общества в этом контексте, разумеется, не от-

вергались, напротив, под них подводился реальный, если угодно, антропологический фундамент: люди в их истинном нравственном качестве, а не институции сами по себе являются основанием прогресса. Так, к примеру, институт местного самоуправления в виде земства был введен в эпоху реформ, проблема же заключалась, увы, в остром дефиците людского ресурса.

Критика, подобная пыпинской, особо настаивала на «фантастичности» «Пушкинской речи», что, по существу, означало неприятие утверждаемого писателем идеала как противоречащего законам действительности, известным этой критике (бессильной «перевести его идеалы на понятный язык»). Дискуссия приобретала аксиологическое значение. В спорах вокруг Речи и под ее воздействием противоборствующие стороны получили возможность более глубокой самоидентификации. То же самое происходило и с самим Достоевским при формировании уже «Дневника писателя», «единственного выпуска на 1880», хотя сама Речь изначально носила очевидно объединительный характер. Сфера культуры, как представляется, проходит через процесс идейного дифференцирования, чтобы в итоге в ней проявилась интегративная природа идеала, как она и проявилась в «Пушкинской речи». «Пришел с прощением всех увлечений и крайностей. (Это я усиленно подчеркиваю)» — так сам Достоевский определял скрытую интенцию Речи [ДЗ0; 26: 209]. Ситуация отдает парадоксом, но культура и не знает линейного развития. <...> Глеб Успенский сформулировал в секулярных терминах ключевую позицию Достоевского: «отвлеченная (хотя и очень искусная) проповедь самосовершенствования», — а затем дал собственную «формулу сомнения»: «Решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только самосовершенствоваться...» [Успенский 1880b: 117, 118]. Успенский был далеко не одинок в своем сомнении. Один из организаторов Пушкинского праздника, во многом сочувственный Достоевскому, также недоумевал:

«Послушать его, стать на его точку зрения — надо перестать думать и об экономических и о политических усовершенствованиях народной жизни, похерить все эти вопросы и ограничиться молитвой, христианскими беседами, монашеским смирением, сострадательными слезами и личными благодеяниями» [Юрьев].

Успенский гораздо короче, буквально в двух словах передал расхождение с Достоевским: тот говорит о «ниве», а мы — о «деле» (свой цикл очерков Успенский тем не менее назвал «На родной ниве»). Следом публицист рассказал назидательную историю о народном заступнике,

которому общество не позволяет вершить благодеяния [Успенский 1880b: 118–121].

Призыв Достоевского «потрудиться на родной ниве» [МВед.] не означал «ограничиться молитвой», такое, опять же мифологическое, прочтение оппоненты навязывали «Пушкинской речи». Из того культурного контекста, в котором данный призыв означал «умное делание», они давно (или недавно) выпали, вернувшись в него лишь на краткий миг, как тот же Успенский, когда был слушателем Речи. Но этот-то миг и был по-настоящему моментом истины, впоследствии заслоненной чужеродными словами.

Центральное слово «Пушкинской речи» — «всечеловек» — было тем краеугольным камнем, который отвергли непричастные дому строители. Само это слово и его производные («всечеловеческий», «всечеловечный», «всечеловечность») в контексте Речи представляют сходящиеся к центру семантические поля, поначалу образуемые такими понятиями, как «всемирная отзывчивость» Пушкина и «всемирность стремления русского духа». В заключительной части Речи «всемирность» как бы возрастает до «всечеловечности», а эта последняя вступает в союз с родственным: «братство» (семь слов с этим корнем в небольшом фрагменте текста!). Самое сильное место здесь: «...изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» [МВед.] Следом Достоевский оговаривает предвиденную им реакцию секуляризованной общественности и в противовес — свою твердую позицию: «Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь что их высказал. Этому надлежало быть высказанным» [МВед.]. Заметим: восторженными и фантастическими «могут показаться» слова о «Христовом евангельском законе». Что, собственно, и случилось затем в большей части журналистики. Однако слово было сказано, «и Слово было Бог».

Концепт «всечеловек» попадал в тот смыслообразующий контекст, который, несомненно, был знаком аудитории, собравшейся в зале Благородного собрания 8 июня 1880 года, и потому был адекватно воспринят ее коллективной культурной памятью. Неожиданное свидетельство тому — сохранившаяся стенограмма агента III Отделения, тщательно фиксировавшего, в каких местах речь Достоевского прерывалась «рукоплесканиями», «дружными рукоплесканиями», «громом рукоплесканий» (дважды). Единственная ремарка «оглушительные рукоплескания» сопровождает именно слово «всечеловек» [Агент: 280]. Свидетельство агента подтвердил участник праздника, позднее переоценивший происшедшее (и с ним самим

тоже!): «И к чему этот *всечеловек*, которому так неистово хлопала публика?» [Тургенев].

Что евангельские коннотации были не чужды данному слову, подтверждает рассуждение Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа» (1869) о различении «общечеловеческого» и «всечеловеческого», завершающееся фразой: «...был только один Всечеловек — и тот был Бог» [Данилевский]. Разумеется, Достоевский мог и не помнить этой фразы десятилетней давности, а в памяти слушателей Речи ее бытование тем более сомнительно. Однако есть неисследимые «воздушные пути» коллективной культурной памяти, и именно об этом слова Достоевского: «Можно очень много знать бессознательно», — сказанные, между прочим, по поводу «сердечного знания Христа» [ДЗ0; 21: 38]. Слово «всечеловек» должно было «подождать», когда наступит время для его полной отрефлексированности — в трудах сербского святого Иустина (Поповича), ровно через полвека прочитавшего «Пушкинскую речь» как «самое евангельское пророчество о всечеловеке и о всечеловечестве» [Иустин: 226]. Приведем одно из суждений преподобного, имеющее прямое отношение к нашей теме:

«Для людей гуманистического, механического, римокатолического склада духа такое евангельское объединение людей во всечеловеческое братство представляется утопией, невозможным чудом на земле. Но для православного человека, обоженного и освященного Христом, такое объединение людей является не только горячим желанием веры и молитвы, но и необходимым евангельским ощущением жизни. Это одна из главных реалий, на которой стоит, существует и служит Христов человек в этом мире» [Иустин: 225]. <...> Настала пора сказать несколько слов о современнике Достоевского, ближе других подошедшем к пониманию феномена «Пушкинской речи». Это Иван Сергеевич Аксаков. Именно он усилил эффект, произведенный Речью на слушателей, сразу же и во всеуслышание назвав ее «событием», что вызвало «рукоплескания и крики: bravo!» [Агент: 281]. Вскоре публицист подробно изложил свое видение «события» в переписке с современниками [Аксаков] и, наконец, дал самый, возможно, проницательный на то время духовный очерк Достоевского в некрологической передовой статье редактируемой им газеты «Русь» (1881, 7 февраля). Аксаков здесь исчерпывающе ответил на известные уже нам «политические» претензии оппонентов писателя: «Идея внешней, социальной равноправности бледнела и исчезала для него в *высшей* идее — в христианской идее *братства*». В происшедшем же со многими слушателями «Пушкинской речи» перевороте острый взгляд знатока русской общественной жизни уловил главное:

«...увлеченные общим движением, сами подвигнутые проснувшиеся в них правдою и вспыхнувшим русским народным чувством, — многие стали потом стыдиться своего увлечения и своих восторгов — может быть лучшей, искреннейшей минуты в своей жизни!» («Русь», 1881, 7 февраля).

Интересно все же, чем была бы наша история без таких «минут»? Аксаков провокативно-резко и открыто-парадоксально называет их — «наваждение истины». Его проникновение в суть исторического события «Пушкинской речи» позволяет нам поставить последнюю точку в предпринятом обзоре:

«...знаменательна и утешительна самая возможность таких минут в нашей русской общественной жизни, когда правда берет свое, является в торжестве, всё покоряет себе своею властью, все и всех единит собою: это правда христианская, это правда русского, глубоко-народного чувства...» («Русь», 1881, 7 февраля).

Источники, указанные в квадратных скобках:

1. *Агент — Бельчиков Н.* Пушкинские торжества в Москве в 1880 г. в освещении агента III Отделения // Октябрь. 1937. № 1. С. 271–282.
2. *Аксаков — письма И. С. Аксакова 1880 года: предположительно Е. Ф. Тютчевой 14 июня (Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 96–99), О. Ф. Миллеру 14 июля и 17 августа (Литературное наследство: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 511–512, 514–515), П. А. Кулаковскому 22 июля (Переписка П. А. Кулаковского и И. С. Аксакова 1880–1886 гг. // Славистика. Белград, 2014. Вып. XVIII. С. 572–573), Ф. М. Достоевскому 20 августа (ОР РГБ. Ф. 93. П. 1. 20. Л. 5–8 об.).*
3. *Градовский — Градовский А.* Мечты и действительность. По поводу речи Ф. М. Достоевского // Голос. 1880. 25 июня.
4. *ДЗ0 — Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
5. *Данилевский — Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 123.
6. *Иустин — Иустин, прп (Попович).* Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб.: Сретенский монастырь, 2002. 287 с.
7. *МВед. — Достоевский Ф.* Пушкин (Очерк) // Московские ведомости. 1880. 13 июня. № 162.
8. *Оболенский — Л. О. <Л. Е. Оболенский>* А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции // Мысль. 1880. № 7. С. 79.
9. *Пыпин — П. А. <А. Н. Пыпин>* С пушкинского праздника // Вестник Европы. 1880. Кн. 7. С. XXXII.

10. *Тургенев — Тургенев И. С.* Письмо М. М. Стасюлевичу 13 июня 1880 г. // Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: в 28 т. Письма: в 13 т. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 272.

11. *Успенский 1880a* — Г. У. <Г. И. Успенский> Пушкинский праздник. (Письмо из Москвы) // Отечественные записки. 1880. № 6. С. 173–196.

12. *Успенский 1880b* — Г. У. <Г. И. Успенский> На родной ниве (очерки, заметки, наблюдения) // Отечественные записки. 1880. № 7. С. 109–121.

13. *Юрьев* — [Письмо С. А. Юрьева О. Ф. Миллеру 3 ноября 1880 г.] Достоевский в неизданной переписке современников (1837–1881) / публ. Л. Р. Ланского // Литературное наследство: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 520.

